

## Дмитрий Горох



*Дмитрий Анатольевич Горох – родился в 1975 году в городе Сортавала Карельской АССР. Окончил Петрозаводский государственный университет. По профессии инженер-строитель. Живёт и работает в Петрозаводске. Автор книги стихов «Возвращение к морю», книги стихов и статей «Пыльца на ладони». Подборки стихов выходили в коллективных поэтических сборниках Петрозаводска. Неоднократно печатался в журнале «Север». Статьи публиковались в вепском альманахе «Verez Tullei» («Свежий ветер» – на вепском языке).*

### ШУМИЛО

#### Рассказ

Такой чёрной непроницаемой темени и такой звонкой ошеломляющей тишины не бывало нигде. Вышел на крыльцо и – пропал. Глаза открыты или закрыты – совершенно не важно: ладонь, поднесённая к переносице, кроме как запахом пчелиного воска ничем себя не выдаст. В тёмной – без просвета – кладовке, где я иногда валялся на старом топчане, прячась от всего мира, мир не казался так безнадежен, как здесь, под открытым, усыпанным звёздами небом. Будто звёзды не источали свет, а вбирали в себя его остатки. Млечный Путь тянулся нескончаемым обозом куда-то за горизонт, с ним частицы света покидали землю, двор, сочились из-под крепко зажмуренных век. И представилось, что в невероятной загадочной дали прокачивает свет сердце мира, и пылающие протоки капилляров и вен через присоски-звёзды, пульсируя, насыщают мой мир смыслом: день-ночь, день-ночь, день-ночь...

Безответное, манящее, неохватное звёздное небо! «Открылась бездна звёзд полна» – золотые буквы на чёрном бархате безмолвно тянулись вереницей огоньков, ссыпались в горловину сырой безлунной августовской ночи. И мне, мальчишке, отчаянно хотелось отыскать надёжные слова, выразить ими стремительные чувства. Не находя нужных и точных звуков, я почти задыхался. На утро такие же, беззащитно-отчаянные, выгибались на тёмно-зелёном болотном мху плотвицы и окуни, выуженные из густого чернильного Тарасенковского озера, серебряно-чёрные, с выпученными безумными глазами, хватающие ртами рассветный туман нового дня, не умея дышать, как люди, не умея по-человечьи говорить!

Однажды, ещё дошкольником, здесь же, в деревне, придумав себя отважным разведчиком, я полз по-пластунски и – впихнулся в подземную трубу. Труба была частично забита, но впереди, размером с блюдце, светилось выходное отверстие. Я полз, пока не застрял. Вперёд пути не было, тогда я попробовал обратный манёвр. Не тут-то было! Вот тогда на меня нахлынула паника такая, что не было голоса закричать. Грудь сдавило, и дыхание давалось с усилием, воздуха не хватало... С огромным трудом, не сразу, упиравшись головой и локтями и толкая себя на крошку назад, я выбрался, отдышался. Но страх тесных и узких пространств остался во мне, упав в копилку к самому первому страху: изрядно уже потёртому и заметному лишь по лёгкому адреналиновому отклику древнему глубинному ужасу темноты.

Отсутствие звуков обескураживало, молоточки и наковальни садняще ныли. Ночная деревня умела сдерживать дыхание, притаиться, чтобы прыснуть вдруг лающим, стрекочущим, хлюпающим, кашляющим смехом. Старческое кряхтенье деревушки внезапно рушило своды идеального всепоглощающего безмолвия. В этом антураже брюлловского последнего дня Помпеи я вспоминаю себя пробирающимся к дощатой уборной мальцом, не видя ни зги, балансируя на глинистой скользкой тропинке двора, преодолевая в себе детские страхи темноты, кишашей мультяшными чудовищами моего воображения.

Ребёнком выходные и летние дни я часто проводил в Метсымикли. В половине простого деревянного дома совхозной постройки жили дед с бабушкой. И если отчего и ломился дом, так это от гостей. В иные дни и баня и сеновал становились местом ночлега. Зятя и невестки, шурины и золовки, свояки и свояченицы, дяди и тётки, братья и сёстры! Чтобы не крутились под ногами, нам, сорванцам, и вечному нашему компаньону дворовому псу Полкану позволялось многое: ходить на реку и в лес, играть в войнушку в каменных развалинах старой финской конюшни, рыбачить, купаться, жечь костры, водить корову на пастбище, просто кататься на великах, исследуя окрестности.

Дед Женя занимался пасекой. В этом новом для меня, опасном и волнующем мире дед был бесстрашным проводником и инструктором. Ульи стояли в яблонево́м саду, за хозяйственными сараями, сеновалом и хлевом, перемежаясь кустами смородины и крыжовника. Сад спускался к обрыву, упираясь в густой малинник, ивняк, непроходимые заросли крапивы и дудника. Сразу за ними, в узкой скальной ложбине, внизу грохотала и пенилась порожи́стая изворотливая речушка. Вода в каменной ванне, куда отвесно с переката ссыпались широкие струи, бурлила и пенилась, брызгала в лицо мелкой влажной пылью, вспыхивала и гасла радужными сполохами. А ниже по течению, тягучими тёмно-русскими косами обогнув перекатные булыганы, поток умиротворённо разливался, чтобы, сонно потянувшись на пенных подушках, лениво развернуться и – ухнуть в новую стремнину. Местные называли эти пороги шумилом.

Ещё ниже, там, где на берегу срубили баню, находилось корыто – каменная чаша в реке, глубиной почти в рост человека, куда мы, взрослые и дети, разгорячённо-краснокожие после парения, с гиканьем и уханьем прыгали. Чтобы затем, визжа и охая, ещё быстрее нестись обратно – в самое пекло парилки, на чёрные от времени и жара полки́.

Старая банька топилась по-чёрному. Бревенчатые стены и дощатый потолок тускло отливали бархатным графитом, почти не отражая свет маленького оконца. Дед кидал воду на раскалённые камни – и младших сдувало как ветром с верхних полков на нижние, с нижних на пол. Старшим, то есть мне с братом, десяти-одиннадцатилетним пацаньятам, полагалось терпеть на самом верху. Волна горячего пара ошпаривала один бок, тут же, ударившись в стену, ожигала другой. Дед берёзовым веником сгребал остатки жара на наши спины, жилистый, кашляющий, расплывчатый в горячем тумане. «Выдерни чепуху», – смилостивится наконец дед, и я двумя пальцами, чтобы не вымазаться в саже, тяну за шнурок-завязку из продуха в потолке закопчённую меховую шапку-ушанку. И – о долгожданное счастье! – туман рассеивался, свежело, хохоча мы выскакивали в предбанник, дрались за алюминиевый ковши́к, чтобы, зачерпнув из бочки студёной колодезной воды, окатить в первую очередь проигравшего. Вода пахла железом, воздух – берёзовым листом, копотью, разнотравьем цветущего луга, а время юности текло так широко и щедро, что казалось неисчерпаемым.

На простую удочку с поплавком в быстрине ловилась форель, в излу́чине блеснилась щука. Однажды нам с братом на донку попался угорь. Донка-закидушка была самой примитивнейшей конструкции: made in Метсымикли, по сути, оборванная леска с крючком и грузилом. Насадив жирного навозного червяка, вечером мы забросили донку в корыто, привязали к коряге, а утром пришли проведать. Такого невиданного зверя ни разу ещё не видали даже такие опытные пацаньята, как мы. Были, конечно, подозрения, что змеи под водой не водятся, и внутренний голос, вскормленный надёжной советской системой образования, подсказывал: это какая-то рыба. Но снять невиданного зверя с крючка мы не решались. Сначала поспорили, что правильнее: вызов добровольца или выбор по старшинству. Добровольцев не оказалось, а мою отличную идею старшинства забраковал брат, назвав меня молокососом. Так и понесли змеюку-угря́ домой на леске, рассудив, что зверь не совсем может быть бесполезен и пригодится попугать. Бродячих актёров, возможно, ждал бы успех. Но странствующих рыцарей, а гуляли мы в то лето тяжело вооружившись мечами и луками, ждал незаслуженный чулан. Кто ж мог подумать, что девчонки могут быть такими впечатлительными... А угорь нашёл своё место на чердаке, где вялились и другие рыболовные трофеи, на видном месте – между пятнистой форелью и зубастой щукой.

Со двора на пасеку мы попадали через подсобное помещение – пасечную мастерскую. Волшебное место, где дед был жрецом и кудесником. Дед здесь наващивал рамки, распечатывал соты и откачивал мёд, хранил готовые рамки с вошиной и сушь, готовил сахарный сироп для прикормки

пчёл, чинил инвентарь. На столе стояла медогонка, ручку которой мы крутили по очереди, и мёд медленно и тонко струился, наполняя стеклянную банку. Тягучая струйка ложилась на мёд горкой, петляла, выводила вензеля и тайные знаки. Вечернее солнце, выглянув из-за тучи, золотило прозрачную банку, мёд вспыхивал изнутри янтарным светом, обнажая сотни маленьких пузырьков. Скрипела ручка, вращался ротор в медогонке, пахло сладко – до головокружения. У всего этого действия была потрясающая гипнотическая сила.

Надев шляпу с сеткой и перчатки, раскопегарив дымарь с гнилушками, мы выходим в сад. Дед говорит, что, ужалив, пчела погибнет. Жало у неё зазубрено, как рыболовный крючок, оно намертво застревает в коже, и, улетаая, пчела рвёт своё брюшко. Пчела не нападёт от нечего делать, но, защищая семью от грубияна и бестолочи, она не пожалеет и жизни. Отсюда первое правило на пасеке: не ругаться, не суетиться, не махать руками. Стоический характер в ребёнке вырабатывается болезненно, но скоро. После двух-трёх укусов. Слабому характеру достаточно одной попытки, чтобы понять и принять: безопасный мёд бывает только в магазине. Когда пчёлы роятся, они вообще поражают покорностью и смирением. Дед наполнял роёвню голыми руками. И внукам-пионерам, добровольно пожелавшим, конечно, насыпал в протянутые ладони по пригоршне пчёл. Это тот самый случай, когда тело отказывается жить по законам разума. Мысленный эксперимент понятен и прост, опыт безжалостен. Так дед проверял нашу силу воли. Мы с братом экзамен сдали.

Тихоходный бумажный кораблик, влекомый плавным течением, плывёт всё быстрее, быстрее – и вдруг с уступа с валом речной воды ухает в стремнину, в пропасть, бьётся о камни, мелькает в радужных брызгах. В этих порогах и перекатах – на короткое время – кораблик теряется из вида, здесь он принадлежит только себе и стихии. Неизвестно – сгинет ли он или, преодолев кипящие котлы, преобразится... Я нахожу кораблик за последним порогом шумила в маленькой тихой гавани посреди взбитой пены, суводью прибитым к берегу. Он пострадал, конечно. Помятый, размокший, но не затонувший бумажный кораблик я прячу в расщелине скалы. Здесь будет его вечный причал. Храброму кораблику отдаю пионерский салют.

Схоронив деда и бабушку, одна большая семья лишилась центра притяжения, распалась на несколько больших и маленьких семей. Новые семьи также росли и также распадались, последующие поколения заступали на вахту старейшин, а предыдущие поколения мирно и чинно, давно установленным и незыблемым порядком, эту вахту уступали. Старый дом никому оказался не нужен, распродали и раздали пасечное хозяйство, со временем без пригляда накренились и рухнули подсобные постройки. Сад зарос. Поле и луг, сбегавшие к реке, перегородили заборы новых хозяев.

Теперь и я даже не гость на этой земле, а чужой почти человек. Словно из другой жизни и другой вселенной приходят мне на память события и картинки. Та же река, те же камни, покрытые мхом и лишайником, так ярко и так смело живописные, что слезятся глаза. И всякий раз палитра разная: летом, весной, осенью, пасмурно или солнечно – всякий раз новая картина, и всякий раз неповторимо, до замирания сердца, красивая. Та же беспросветная тёмная ночь, хоть глаз выколи, и те же сосущие моё существование звёзды-присоски, но кроме тьмы теперь ещё пустота на душе и в сердце, прореха в том самом месте, где хранилось ощущение детского покоя, неисчерпаемости времени, обратимости всего и вся на нашей земле. В каком-то смысле эту пустоту можно назвать осознанием и принятием твоего индивидуального изгнания из рая, временем разрушения иллюзий, взросления, одним словом.

Истлел без остатка мой бумажный кораблик, но даже властный шум времени не в силах пока заглушить зыбкую мелодию памяти, незримыми швартовыми притороченную к этим замшелым камням.

